

**НАСЛЕДНИК  
ВЕКОВЫХ ТРАДИЦИЙ**

**П Р О З А**

**МИХАИЛА ТАРКОВСКОГО**



М И Х А И Л  
ТАРКОВСКИЙ

ПОЛЁТ  
СОВЫ



МОСКВА  
2017

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
Т19

Оформление серии *С. Власова*

**Тарковский, Михаил Александрович.**

Т19 Полёт совы / Михаил Тарковский. — Москва :  
Издательство «Э», 2017. — 352 с.

ISBN 978-5-04-089321-8

По словам писателя Романа Сенчина, Тарковский продолжил художественную летопись Сибири, ставшей для него, москвича по рождению, настоящей родиной. Он пишет о том, как и чем живет этот огромный край к востоку от Урала. И эта жизнь, вроде бы далекая от обитателя большого города, понятна ему и близка. Правда жизни и правда литературы в повестях Тарковского приближаются друг к другу и «искра какой-то единой, единственной правды будто окно прожжет, и что-то смертельно-личное станет вдруг образом».

**УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44**

ISBN 978-5-04-089321-8

© Тарковский М., 2017  
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

# ПОЛЁТ СОВЫ

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Вот и начал из меня понемногу вытекать город. Правда, разговора с природой ещё не случилось, и моя мечта прокатиться на долблёной лодке по озеру остаётся мечтой. Так же как и потребность залечь с любимыми книгами, без которых скоро спячу. Хотя хуже всего, что как раз не спячу и что состояние это может длиться вечно. Что жить ожиданием становится привычкой и словно доказывает, что можно обойтись без дорогого. Потому и беспокоюсь: главное следует делать не откладывая — пока молодой и можешь свернуть горы.

Хотя к горам ещё надо пробиться. В городе меня доконали пробки и машина, вещи вроде бы подсобные, но так лезущие в жизнь, словно метят в заглавие. Ползимы простояли морозы, и каждый раз утром на заводке в моторе что-то брякало. То ли цепь растянулась, то ли ослаб какой-нибудь натяжитель или успокоитель. Словечки, конечно, расчудесные, но лучше, чем всякие «иммобилайзеры». Так вот... Оказалось, что на сто

пятидесятой тысяче надо менять цепь. На работе шли невероятные проверки из образовательного надзора, да на выходные предстояло ехать в Минусинск в музей Мартьянова. В автосервисе на меня посмотрели хищно и сказали, что надо «разбирать лобовину». Через полтора часа требовалось встретить на вокзале директора школы из Канска... И всё это каждый день. В таком духе длилось до весны, и я понял, что если так пойдёт, то мне самому понадобится разбирать лобовину и менять успокоитель. А может, и натяжитель. Пусть успокоит нервы либо натянет так, чтоб не брякали. А потом ушёл мой любимый директор, Иннокентий Александрович, сказав: «Извините, ребята, вы как хотите, а я участвовать в убое образования не собираюсь. Да и преподавать постоянное осуждение эпохи, страны, людей по писателю Солженицыну не намерен...»

Я думал, что меня хоть здесь отпустит. Не в смысле, что беды России отойдут, а что я сам успокоюсь и окрепну. Когда случается что-то возмутительно-несправедливое, со мной происходит следующее: внутри моей головы, с обратной стороны... лобовины... с внутренней... ну, как объяснить-то? Короче, у меня будто есть некая внутренняя крышка лба. И когда я волнуюсь, эта крышка начинает отделяться, отслаиваться, появляется двойное чувство черепа, будто там две пластины и меж них проливается горячая жидкость и постепенно опоясывает всю голову. Проливается, жжёт и врезается в мозг, как петля из троса... Это происходит, когда я слышу некоторые слова, например «успешность» и «толерантность».

Всех почему-то интересует, кто *именно* разрушает Россию. А по мне, как *их* ни назови, главное, как *ты*

можешь противостоять. Времени-то нет на расследование. Да и расследовать особо нечего: есть черти внешние, есть внутренние. А есть некий мировой сквознячок, куда они нас тянут, хотя безбожники и Иоанна Богослова не читали.

Уже прошло три недели, а я только сел за стол, чтоб хоть что-то записать. И всё жду, когда наконец настанет то, ради чего я сюда приехал: покой, тишина, разговор с тайгой. Картина чудная, долгожданная, но настолько измученная ожиданием, что я уже не за себя, а за неё переживаю, что перекосится, заветрится, пересохнет без подтверждения, и, не дай Бог, сорвётся с гвоздика...

Но всё равно... Представляю берег, идущий в какой-то счастливой растерянности снег, и я бреду с ружьём по обледенелому галечнику. Потом поднимаюсь на гору сквозь тальники и чернолесье и вижу среди густых, высоких и остроконечных пихт озеро. И я плыву по озеру на *ветке*, долблёной лодке, по чёрной предзимней воде, и медленно-медленно падает снег, огромные, как созвездия, плоские снежинки... Они встречаются со своими отражениями и сами в себя проваливаются, сходят на нет, самопоглощаются, и множатся, множатся вокруг тысячами соединений-исчезновений.

Время до первого сентября прошло в хозяйственных заботах. Домишко, который мне выделили, неплохой, но пришлось не только повозиться с печкой, но ещё и баню подделать — не знаю, как тут мылись, не говоря о парилке. Откопал яму, и, когда таскал глину, так вдруг захотелось читать, что едва закончил умазывать печку, даже не отмыл дочиста руки: глина так и осталась на верхней стороне кистей, в основаниях ногтей. В тепле

кисть начало стягивать с такой бережной и спокойной силой, что показалось — трудовая и древняя наша земля пожала мне крепчающую руку.

С лодкой, слава Богу, решилось, сосед дал «напрокат» старую «обушку», я поставил мотор и всю борозжу Енисей. Воровства здесь вроде нет. Бачки и ключи оставляют в лодках.

У меня все старшие плюс классное руководство — седьмой класс. Здешние дети сильно отличаются от городских. Скромней ли, замкнутей... и одновременно беззащитней. Особенно девчонки. Седьмой класс самый трудный — они уже вполне большие, чтоб не бояться учителя, и ещё недостаточно мудры, чтоб относиться к нему как к человеку.

В городе нет такой границы между школой и остальной жизнью. А в деревне школа — отдельный мир. Представьте осень, дожди. Дрызг невозможный. Грязища, взрезанная, вспоротая гусеницами, жирно из-под них прущая... Кофейная, шоколадная каша, по которой хлещет дождь, и она оплывает водой, блестит, как лакированная. Трактор прёт на санях продукты с пареходишки, что еле ткнул в берег: сумасшедший ветер дерёт реку огромным зазубренным рубанком, так что судёнышко едва не выбрасывает на камни. Накат коричневый. Чуть поодаль длинно ползёт извилистая полоса пены. Капитан на взводе, глава села в плащ-накидке недоволен с недосыпу: всю ночь принимал солярку. То кричал, бегал, а теперь замер в оцепенении, под плащом подперев локтем бок и образовав нечто угловато-нелепое. Хозяйка груза носится с размокши-

ми фактурами: «Двух ящичков не хватат! А это вообще не моё. Где же «Бристоль»-то эта?»

Поодаль на берегу деревянная лодка на плавничных бревёшках-покатах, возле неё бородатый мужик приваливает камнями узлы брезента, которым накрыт груз. Он охотник и должен был уехать в тайгу, но отложил заезд: в такой вал от берега не оттолкнуться.

Грузчики, молодые ребята, разгружают картонные коробки с консервами. Мокрые от дождя, те рвутся с углов. На камни валяются банки с тушёнкой и сгущённой, белея донцами. Наклейки отлепляются поясками. От ударов о камни банки мнутся бессильно, мягко, беззвучно, базальт как-то запросто глотаёт-гасит звук. Камни холодные, меж них торчит арматурина, которую весной намертво всадило-заклинило льдом. Грузчики берутся за муку, мгновенно белеют. Один недотёпа роняет мешок как раз на арматурину. Долговязый парнишка с чуть асимметричным лицом рявкает: «Ково тянешь, ворона! Вверх подымай! Насадил дак...»

Наконец сани загружены, загромождены шатким и тяжким штабелем. Трактор дёргает по мокрым камням, вздирая, высекая сухо-серую крошку. Сани вздрагивают, проскребаят по булыганам, прихватив гальку и катя её между полозом и камнем. Добираются до грязи и, встав в нежные ложа, облегченно скользят, оставляя масляные желоба. Трактор бежит проворно по коричневым жилам и, заезжая в лужу, гонит перед собой коричневую волну.

Ребята стаскают коробки в склад, придут домой, сбросят в сених угвазданную одежду, сапоги и верхонки под материн крик: «Ку-у-уда страхоту эту? В баню! В баню всё!» Вступят в домашнюю жизнь. Тепло печки,

белёные стены, половики-дорожки. Уют, который заслужить надо. Как передых.

И тут вдруг длинное белёное здание с большими кабинетами и дневным светом. И жизнь в нём совсем другая, можно назвать её несправедливо чистой и тепличной, но я вас уверяю — она очень настоящая. И она, эта жизнь, полностью отличается от всего, что вокруг. Ведь как бывает? Собирались на покос метать копны, а дождь посыпал и всё сорвалось. Или по сети с батарей дёрнулись, но вал пошёл и никуда не поехали.

В школе такое невозможно. Здесь, если урок в полдевятого, то ветер хоть изревись, урок в полдевятого. И хоть дождь исхлещись, извались снег, но так же горит дневной свет, так же готовится завтрак, пахнет молоком, чуточку подгоревшим, и так же идёт дежурная учительница с ручным колокольчиком и звонит на всю школу.

Школьников здесь домашние называют *учениками*. Зашёл к одному мужику за столярным угольником. Он долго его искал: «Галя, угольник не видала? Найти не могу. *Ученики* куда-то уташшили». Слово он произнёс с особой ноткой — «ученики» предстали как некая весёлая и беспорядочная сила.

В «моём» классе *учеников* двенадцать человек. Конечно это меньше, чем в городе, и с таким количеством работать вроде бы и легче. Но времени тратишь ровно столько же. И придя домой, надо управиться с дровами, а многим учителям ещё с коровой или козами, да ещё обработать рыбу, засолить капусту и картошку убрать, пока солнце. И это только осень. А что будет, когда снегом завалит и морозы прижмут?

Ещё наблюдение. В городе и перед учителями, и перед учениками ты выступаешь в одном-единственном

экземпляре: тридцатилетний учитель русского языка и литературы Сергей Иванович Скурихин. Всё. Вышел за дверь школы и растворился в городе. И что ты для кого-то просто Серёжа, сын ли, товарищ — никто в школе не знает. Для домашних же Серёжа никак не пересекается с Сергей Ивановичем. А здесь... Здесь они настолько перемешаны, переложены друг другом, что я и сам теряюсь. Выйду из школы, и тут же те, кто звали Сергей Ивановичем, кричат: «Серёг, накинь трос!» Хотя женщины и в поселке официализируют: «Сергей Иванович». Могут одновременно с двух сторон окликнуть и так и так. На разрыв.

Я никогда не задумывался, кто я из них на самом деле. И не привыкну, что в одном человеческом пространстве есть учитель Сергей Иванович, молодой учитель, и есть Серёжа, новый житель посёлка, который два часа маслал мотор под угором, потому что перепутал свечные колпачки, потому что их забрызгало волной, потому что сдуло ветром кое-как надетый капот. Потому что раздолбай.

А к ветру привыкаешь. Когда на улице работаешь — раскаляешься под его напором, как в горне. А потом приходишь в тепло, и тебя, краснорожего, развозит, морит, едва сядешь за стол и уткнёшься в тетрадь или книгу. Никогда не думал, что настолько бессилён перед осоловелостью. В городе по-другому: заражаешься общим нервным тоном и на нездоровом бодряке живёшь до поры. Угар этот только потом вылезает.

То, что меньше учеников, облегчения не даёт: просто каждый подвигается ближе, становится огромней и, разросшийся, встаёт со всеми заботами, друзьями-приятелями, дровами, печками, ершиными баночка-

ми и петлями на зайцев. С горящим от ветра лицом и глазами, слипающимися при виде букв. И понимаешь, насколько всеильна эта жизнь, мокрая, снежная, ветреная — когда обхватывает, облегает, пронзает, едва вышел из тёплого класса на школьное крыльцо. И когда дождь и тьма дышит... Хотя, конечно, есть вещи, которые не меркнут. Это русская литература.

Которую, сократив в часах, вывели вон из главных предметов, и по ней нет выпускного экзамена обязательного. Предмет, конечно, оставили на птичьих правах. Так... из одолжения... в порядке «ознакомления» с направлениями культуры. Но несмотря на планомерный убой образования в школе, как и везде, всё зависит от личности. Злая воля, возведённая в систему, не настолько непобедима, как казалось Иннокентию Александровичу. Она равнодушна, механична и безлична, и это её слабое место. От учителя требуются только «показатели», его никто не проверяет и не запрещает преподавать традиционные для нашего народа ценности. Но таких охотников единицы, и система спокойна: её сила в том, что большая часть учителей — дети школьного стандарта и телевизора. Они, конечно, скажут: образование нужно. Но не для того, чтобы сделать нашу землю лучше, а чтобы «стать успешными».

Работа учителя — источник вечной опасности. Я всё время жду новых ударов и живу по-двойному: хочу, чтобы всё уладилось, и одновременно пытаю режим на шивость в надежде, что он проговорится, обнаружит себя во всей красе намерений. А он прячется за простых людей, и даже в его уступках я вижу обман и опасность. Я никогда не предаю его пред иноземцами, но в душе не верю в него, как в их же детище.

Меня в этой передрыге больше всего интересует, что значит быть русским. Причём не столько даже по паспорту, сколько глубинно, *духовно*. И как эта глубь преломляется в повседневной жизни, в работе. Когда я работал в Октябрьской гимназии нашего города, глубь эта преломлялась трудно и вскоре потребовала новой шири и знания. И я, обессиленный, попросил отца переговорить со старинным его товарищем из министерства и переправить меня на Север. И вот я тут и думаю, что значит быть русским и насколько я достоин этого звания. И так крепко думается под шум северо-западного ветра, среди великой географии таёжных рек и гор, что в голове моей нарисовалась некая даже карта. Как есть, к примеру, карта населения, где густым чёрно-коричневым цветом обозначены места скопления людей, а бледно-жёлтыми — узкие ленточки заселённости вдоль великих Сибирских рек и Транссиба к востоку от Читы.

Крестьянство и староверчество таких удалённых мест, как Енисей и Ангара, всегда хранило в себе наибольшую нетронутость обычаев, языка, ремёсел, всего того дорогого, что и составляет наше национальное достояние. В то время как в городах вроде Москвы этого и в заводе нет, а те, кто дорожат там русским миром, даже намёка на погоду не делают. Поэтому карта русского духа России выглядит нынче как обратный портрет карты населения: в наименее населённых местах мы наблюдаем его наибольшую густоту.

Моё решение работать именно в таком месте, кроме желания набраться силы и разглядить душу простором, было вызвано желанием отпоиться этим взваром незыблемости, вековечно питавшим нашу литературу.

Обратимся к карте, следуя которой Красноярск выглядит как некая промежуточная точка средней румяности. Меня интересует, кто же я такой по отношению и к столице, и к этому зажатому меж водой и рекой посёлку? Предлагаю наложить на карту ещё одну ипостась — скажем так... участие населения в уничтожении системы национального воспитания. Заранее договоримся, что нас интересует население русское и местное, так как заезжие этносы — тема отдельная и особая, да и спрос с них иной.

Так вот: есть столичное чиновничество, подрезающее наши жизненно важные жилы путём бюрократизации образования, подмены дела разговорами об «инновациях», перевода внимания учительства на побочные вещи. Обозначим его кружком белого цвета. Есть школьный учитель из центра страны, оказывающий посильное сопротивление. Обозначим его кружком чёрного цвета. И есть учительница из далёкой деревеньки. Вопрос: каким цветом мы её... припечатаем?

Но для начала надо с собой разобраться. По отношению к столичному духу я крайне русский, что подразумевает, кроме взглядов ещё какой-то покроя, склад, который ни с чем не спутаешь и по которому всегда узнаешь русскую провинцию. Но вот носитель «покроя» попадает в северный посёлок. И по отношению к местным выступает двояко и противоположно. С одной стороны, я для них — как для меня москвич. Во мне меньше бытовой народности, и у меня слабее мозольная связь с землёй. При этом я более русский идейно и политически и нелепо выступаю как миссионер в своём же полку (дожили!), несущий *мировоззрение*, требу-

ющий осознанной русскости по всем осям и чётко отделяющий её от обычной простонародности.

Возьмём моё окружение. Валентина Игнатьевна Степанова. Директор школы и учитель английского языка. Очень солидная. Из потомственной местной крестьянской семьи. В отличие от многих верна укладу, живёт в родной деревне; всё, что связано с крестьянским, покосным, огородным — всё её. Посёлок для неё центр вселенной. Она говорит «повешать», «маленько», «ложить», может завернуть ученикам, что у неё «уже мозоля на языке повторять» им одно и то же. Доит корову, поёт застольные песни и до мозга костей народная. Но при этом она постоянно смотрит телевизор, не читает Достоевского, не верит в Бога и честно повторяет спущенные сверху русофобские разнарядки, не повергая их какой-либо критике и относясь к ним как к производственной инструкции. При словах «Православное воспитание» каменеет, сумрачнеет, отвечает по уставу, что «вероисповедание» — это «личное», что «каждый сам пусть себе выбирает *религию*». Она музыкальная, у неё голос, она поёт караоке, но если в деревню приедет гармонист, то закинет это караоке «в под-угор» и выберет родное, да ещё и споёт уморительно частушку: «Пляшет дедушка Трофим — один бродень, другой пим».

Распространённый тип мировоззрения: сочетание народности, атеизма и напыления западной идеологии. Насколько глубоко это напыление, меня и беспокоит, так как школа — дело нешуточное и от неё зависит будущее. Что ещё? Работу Валентина Игнатьевна выполняет хорошо и, что главное, в сердцевине души физиологически отторгает антинародный курс и